В конце одного из первых семинаров «Античность и современность», которые начали проходить в Институте всеобщей истории РАН по инициативе С.Г. Карпюка в октябре 2014 г., его участница О.В. Сидорович задумчиво сказала: «Начинаем подводить итоги… Это о чем-то говорит». Подтекст этих слов (как и многих других, произнесенных и по реальным опасениям, и от сглазу с тех пор, как в нашей стране был утвержден перевод высшего образования на болонскую схему и началась реформа РАН) был ясен: коль скоро подводим итоги, значит, сам предмет такого обобщения с определенной вероятностью завершает свою историю. Стоит надеяться, что пополнение науки о древности молодежью (причем хорошей молодежью!) уже на фоне всех напастей все же говорит о предотвращении сглаза с большим или меньшим успехом; однако, по-видимому, в нашей науке с начала 2010-х гг. действительно началось суммирование и осмысление опыта советского времени. В этом смысле не случайны и появление с интересом прочитанных исследований наших коллег из Омска, и проведение в 2014-2015 гг. ряда научных конференций, посвященных советской науке о древности и ее персоналиям, что немало содействовало сбору материала для этого тематического выпуска «Вестника Университета Дмитрия Пожарского». Сама по себе рефлексии в связи с советским опытом как будто не должна удивлять: грань между советским и постсоветским этапами науки о древности прошла на памяти не менее половины ученых, активно работающих сегодня, и сказалась по существу в исчезновении тех идеологических установок, которым на протяжении десятилетий полагалось соответствовать. Открывшаяся тогда же возможность реального контакта отечественных и в целом русскоязычных ученых с мировой наукой сказалась в их жизни намного меньше: для этого, помимо просто ручки и бумаги, а с некоторых пор и ставшего общедоступным компьютера, требовались еще и свободное владение языками и финансирование. Именно поэтому в большей своей части российская наука о древности все же осталась национальной по своей традиции; и в этой ситуации как раз на фоне падения идеологических догм, казалось бы, давно следовало понять, что в своем прошлом она относит на их счет и отклоняет, а что берет с собой в сегодняшний день.

Тем не менее начало осмысления советской историографии древности (эти патетические слова относятся к тому, что на самом деле имеет вид встреч давних знакомых, завершающихся чаем и не только им) вызвало и продолжает вызывать определенное изумление. Достаточно систематически в связи с этим можно услышать «неужели эти разговоры тоже наука?» и «неужели нет более серьезных дел?» Заметим, что по обоим вопросам мы отчасти присоединимся к спрашивающим: наука – далеко не все «эти» разговоры; а если не идти собственным исследовательским путем вперед, то и прошлый опыт изучать незачем. Однако нельзя не согласиться с С.Б. Крихом, который говорит о «смерти дискуссий» по крупным теоретическим вопросам в современной отечественной науке о древности и определяет предпосылки к этому: компрометация «единого поля для обсуждений» в виде марксистской теории, с одной стороны, диктовавшей исследователям используемые ими категории, но, с другой стороны, и делавшей предлагавшиеся ими обобщения взаимопонимаемыми; компрометация самой практики методологических дискуссий ввиду их регулируемости в советское время; желание постсоветских ученых «жить самим и не мешать другим» - заниматься собственными конкретными исследованиями и не диктовать другим правила их работы. Последняя позиция часто основана на вообще-то достойном стремлении сначала по возможности освоить массив материала и методик зарубежной историографии древности, который стал более доступен в постсоветское время, а затем уже строить с его учетом какие-то обобщения. В более экстремистском варианте это стремление проявилось в отечественной медиевистике, где знакомство со школой «Анналов» привело к резкому отвержению ее поклонниками социально-экономической проблематики; однако наука о древности была менее агрессивна – возможно, потому, что социологическая по своей сути постановка проблем прочно вписана в ее вовсе не советскую традицию, от Нибура до Ростовцева и Финли.

Было бы наивно думать, что нынешний интерес к «советской древности» связан прежде всего или в значительной мере со стремлением разобраться в ее методологических основах, чтобы с учетом этого построить новую исследовательскую парадигму: на самом деле, в нем много ностальгического и чисто антикварного. Вместе с тем изучение советского опыта – очевидно необходимая предпосылка маломальского успеха в поиске отечественной наукой о древности новых методологических ориентиров. При этом достаточно часто отношение к этому опыту строится на более или менее эмоциональной его оценке как марксистского; и в этом смысле немаловажно понять, насколько такая суммарная оценка в принципе справедлива.

Прежде всего, стоит напомнить, что выделение социально-экономической детерминанты в развитии древних обществ российские ученые начала ХХ в. могли воспринять от немарксиста Мейера и его последователей с не меньшим (а учитывая фундаментальность их трудов, пожалуй, и с большим) успехом, чем от последователей Маркса. Влияние немарксистского циклистского «соцэка» на начинающего В.В. Струве заметно в его работах 1910-х гг.; однако позднее этот ученый, стремившийся идти в ногу со временем, удивительным образом соединил в своем творчестве сразу целый ряд тенденций, которые в 1920-е гг. сосуществовали в отечественной науке, будучи, как правило, разведены по разным группам и направлениям. Струве отдает дань и марксистским по лексикону построениям о социальной революции в Египте Среднего царства, и «новому учению о языке» Марра, и чисто академической работе с иероглифическими и греко-римскими источниками. Подобная методологическая эклектика хорошо соотносилась с общим состоянием советского общества в это время: с одной стороны, революция стимулировала поиск нового (достаточно вспомнить модернизм в искусстве тех лет); с другой стороны, советская власть на этом этапе и сама не так уж хорошо понимала, чего она ждет и хочет от будущего. Незавершенность борьбы тенденций и отдельных лидеров внутри коммунистической партии не располагала к установлению диктата в сфере гуманитарного знания, поскольку пока было как минимум непонятно, с каких именно позиций это можно было сделать с пользой и успехом. Думается, что этим в большей мере, чем поиском реального компромисса со старой интеллигенцией, объясняется автономия академической науки, сохранявшаяся в СССР вплоть до конца 1920-х гг. В изучении древнего мира эта ситуация сказалась в отсутствии какого-либо методологического единства и/или руководства даже в том его сегменте, который позиционировал себя как марксистский: как хорошо показал С.Б. Крих, такие зачинатели марксистского метода в антиковедении, как А.И. Тюменев, В.С. Сергеев и С.И. Ковалев в 1920-е гг. были вынуждены прибегать к «модернизирующему» понятийному аппарату, выработанному немарксистской (в основном немецкой) наукой.

Как известно, в 1929-1930 гг. внутрипартийная борьба закончилась победой Сталина и переходом к форсированному строительству социализма. Академическая наука, как и любая другая сфера жизни, не могла теперь остаться вне идеологического контроля; однако в таком случае было нужно тверже, чем раньше, усвоить, с каких позиций этот контроль должен был осуществляться. Было ясно, что гуманитарное знание должно стать марксистским; что касается истории, то развитие человечества должно было мыслиться как восходящий (на словах – спиральный, по реальному смыслу этих слов скорее линейный) процесс, не допускающий возвратного движения и масштабных исключений из его общих закономерностей, а также имеющий квазиэсхатологическую цель – построение бесклассового общества (вспомним остроумную схему Б. Рассела, продемонстрировавшую структурную близость исторических концепций Маркса и блаженного Августина). «Линия» истории человечества представилась последовательностью способов производства и основанных на них формаций; те из них, что лежали между первобытностью и социализмом, характеризовались господством той или иной формы эксплуатации; а сутью исторического процесса виделась борьба между антагонистическими классами, обретавшая на рубежах между формациями качество социальной революции. Однако эти постулаты задавали лишь общие контуры исторической концепции, а ее детальное наполнение зависело не только от конкретных исследований, но и от интерпретации высказываний основоположников марксизма, относившихся к отдельным историческим сюжетам.

Как известно, сумма таких высказываний о капитализме (от «Капитала» до памфлетов Ленина времени Первой мировой войны об империализме) содержала полную и последовательную схему его развития как в Европе, так и в России; в значительной мере такая схема определялась и для истории европейского средневековья («Марка», «Крестьянская война в Германии» и другие работы Энгельса); однако для древности она не вырисовывалась сколько-нибудь полно. Причины этого достаточно ясны: с одной стороны, древность лежала на периферии исследовательских и пропагандистских приоритетов основоположников марксизма, их обращение к ней было достаточно случайно, и сами они не пытались систематизировать свои высказывания на эту тему; с другой стороны, если при жизни Маркса, Энгельса и Ленина материалы по европейскому средневековью, новому времени и по истории России были доступны в публикации и не слишком сложны в изучении, то античные и древневосточные источники быстро накапливались, а работа с ними требовала более специальных познаний, чем имевшиеся у этих деятелей. При всем своем желании они не смогли бы учесть материал по древней истории репрезентативно, и, соответственно, ее единая схема в их трудах оформиться не могла. Наличие таких схем для средневековья и тем более для нового времени побуждало идеологов советской гуманитарной науки пытаться сформировать что-то подобное и для древности; но тогда эта задача и ложилась по преимуществу на них самих, причем в условиях начала 1930-х гг. пускать это дело на самотек было невозможно.

Очевидно, был прав А.А. Формозов, высказавший мнение, что в начале 1930-х гг. директивным органом, сформировавшим пресловутую «пятичленку», установившим «канон» базовых для изучения древности и средневековья текстов марксизма (в частности, указавшим на ленинскую лекцию «О государстве») и начавшим разработку отдельных компонентов полученной схемы, стала Государственная академия истории материальной культуры (ГАИМК). Формозов обратил внимание на своеобразное сотрудничество функционеров ГАИМК из числа недавних партийных выдвиженцев со «старыми специалистами» из среды традиционной академической науки: если первые «задавали курс» в разработке отдельных региональных и хронологических «участков» марксистской исторической схемы, то вторые эту разработку непосредственно реализовывали (в частности, именно так появилась в 1933 г. знаменитая концепция рабовладельческого строя на древнем Востоке В.В. Струве). В 1932-1934 гг. ГАИМК превратился в серьезную структуру со штаб-квартирой в Мраморном дворце, специализацией по разным направлениям истории ранних обществ и даже не с одним периодическим изданием («Известиями», «Сообщениями» и журналом «Проблемы истории докапиталистических обществ»). Однако в 1935 г. его деятели были арестованы и затем погибли, деятельность по большей части была свернута (ее излетом можно считать издание в 1936-1937 гг. трех томов «Истории древнего мира»), а исполнявшие «социальный заказ» «старые специалисты» (в т.ч. Струве) были, напротив, избраны в АН СССР и поставлены во главе важнейших научных структур.

Возвышение Струве (и, надо думать, в целом ученых старой формации) С.Б. Крих связывает с тем, что они более чутко, чем партийные выдвиженцы, ощутили, «что власть начала утрачивать чисто революционные ориентиры в сторону традиционно-патриотических» (здесь исследователь также следует за концепцией А.М. Дубровского). А.А. Формозов провел умную аналогию между вероятным отношением Сталина к лидерам ГАИМКа и точно засвидетельствованным – к деятелям РАППа: согласно К. Симонову, в 1950 г. Сталин сказал о вожде РАППа Авербахе, что тот «сначала… был необходим, а потом стал проклятьем литературы». В отношении советской верховной власти к РАППу и, вероятно, к ГАИМКу должно было быть немало эмоционального, причем эмоции эти можно и разделить: полуинтеллигенты-начетчики, засевшие в великокняжеском дворце и в радости от собственной эрудиции присвоившие себе право карать и миловать, были, без сомнения, малоприятным зрелищем. Вместе с тем эмоции не помешали Сталину констатировать изначальную пользу от того же Авербаха (на этапе, когда идеологический контроль над литературой было нужно властно утвердить); и, вероятно, сходным было отношение власти и к деятельности ГАИМКа в начале 1930-х гг. Печальная судьба его лидеров объяснялась, несомненно, не просто «попаданием под раздачу» во время репрессий в Ленинграде после убийства Кирова, но и тем, что с точки зрения власти они, как и Авербах, перестали быть «полезными». Было бы важно понять, почему это произошло.

Пресловутый поворот сталинской власти в сторону традиционно-патриотических ценностей (обозначившийся все же совсем ясно лишь в годы войны, а не в середине 1930-х гг.) никогда не носил абсолютного характера и никоим образом не означал отказа от постулатов марксизма в идеологии. Конечно, ни в малейшей степени не предполагало этого и знаменитое постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от 15 мая 1934 г., которое, однако, критиковало «абстрактное определение общественно-экономических формаций», подменяющее «связное изложение гражданской истории отвлечёнными социологическими схемами», и призывало преподавать «гражданскую историю» в «в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности». Между тем социологизирование в древней истории можно было поставить в вину как раз деятелям ГАИМКа, а результат, к которому должны были привести их штудии, явно состоял в построении всеобъемлющей и связной, марксистской по своим категориям и духу концепции, объясняющей функционирование докапиталистических формаций в целом. Понять, чем именно такой результат мог не устраивать власть, довольно легко: действительно, примерно тем же, чем и идеология РАППа, ‑ приобретением такой концепцией автономии от собственно партийной идеологии и превращением ее в обоснование амбиций выступающих с нею лидеров. Средством разработки этой концепции в ГАИМК служили многочисленные дискуссии, свободные, по крайней мере, по их форме (трудно представить, чтобы на них по-настоящему воспользовался свободой высказаться кто-то из старой профессуры), – однако в начале 1930-х гг. отношение партийной власти к самой возможности идеологических дискуссий было сугубо негативным, и предыдущее десятилетие было потрачено на борьбу с различными «уклонами» и «оппозициями» внутри партии не для того, чтобы теперь превратить в их потенциальный питомник Мраморный дворец. «Полезная» с точки зрения власти задача ГАИМКа состояла в том, чтобы собрать под партийный контроль всех историков определенной специализации и заставить их работать в рамках идеологически мотивированной, но крайне общей по своей формулировке «пятичленной» схемы; однако после того, как это было сделано, большего, по сути дела, не требовалось, а самих лидеров ГАИМКа можно было и покарать за амбициозность. От их «сменщиков» ожидалась разработка конкретных сюжетов в «живой занимательной форме», с ограниченными по масштабу и степени ответственности вариациями на идеологические «темы», которые в рамках той или иной конъюнктуры могли быть спущены сверху. Подчеркнем еще раз: единой и подробно проработанной марксистской концепции древности на этом этапе не появилось.

Последующая судьба исследований по древней истории зависела от того, каким образом сформировалось руководство в ее отраслях. Практически монопольное положение Струве во главе востоковедения позволило ему выступить с концепцией рабовладения на древнем Востоке, претендовавшей на статус общей схемы: ее критика не была невозможна, но равная по охвату материала альтернатива ей не была выдвинута вплоть до 1950-х гг. При этом личные черты Струве предопределили в науке о древнем Востоке систему отношений, в целом, менее неприятную, чем было вообще возможно в сталинское время. Однако антиковедение было более полицентрично, и в нем играли видную роль не только ученые, апеллирующие к старой традиции (В.С. Сергеев и Н.А. Машкин), но и А.В. Мишулин - партийный выдвиженец иной формации, нежели лидеры ГАИМКа. Как нам кажется, именно он в некотором смысле подхватил у них знамя создания единой марксистской концепции древней истории; нет сомнений, что сделал он это по личному убеждению, видя основу для такой общей концепции в теории «революции рабов», и при этом вел себя менее напористо и автономно, чем его предшественники. Претензии Мишулина на создание общей концепции истории древности можно обнаружить в передовых статьях «Вестника древней истории» конца 1930-х гг., в частности, в статье о подготовке марксистских вузовских учебников : это дело виделось ему как сугубо коллективное, реализуемое по единой и подробно проработанной концепции, с детальным распределением между его участниками задач и контролем за их исполнением. Другим делом, теоретически предоставлявшим сходные возможности, но более сложным в монополизации, было намеченное во второй половине 1930-х гг. написание «Всемирной истории»: работа над ее разделами по древности ждет своего исследователя, который мог бы, в частности, установить, не были ли проволочки в ней, повлекшие ее фактический срыв, связаны с трениями между Мишулиным и его оппонентами «старой традиции». Еще один сюжет, заслуживающий внимания, - это попытки Мишулина создать собственную школу: пожалуй, среди его учеников особенно примечателен П.Н. Тарков, чьи работы выглядят хорошо продуманной и предпринятой не без эрудиции попыткой экстраполировать теорию «революции рабов» на ситуацию в эллинистическом Средиземноморье рубежа III-II вв. до н.э. Похоже, что работа Таркова и была одним из «кирпичей», которые, по мысли Мишулина, служили для возведения единого здания марксистской теории античности или даже древнего мира в целом; однако успех этому замыслу можно было обеспечить, лишь заставив лепить такие «кирпичи» большинство тогдашних историков древности.

Возможностей для этого у Мишулина не было в силу как отсутствия в его распоряжении структур, подобных ГАИМКу, а также немногочисленности его собственных учеников, так и несомненной оппозиции его замыслу со стороны ученых «старой традиции». Не случайно его упомянутая статья критична в отношении не только конкретных учебников по истории древности В.В. Струве и В.С. Сергеева, но и самой идеи авторского учебника. Их создатели (в антиковедении ‑ В.С. Сергеев, а затем Н.А. Машкин) были лояльны марксистскому методу (в частности, проявили себя в разработке теории «революции рабов»), но при этом и верны классической для антиковедения проблематике; а их издания, казалось, подтверждали возможность плодотворного синтеза этих обеих тенденций. Именно такой «синтез» был ко двору во времена «сталинского ампира» 1940-х гг., с его уже очень внятным поворотом к традиционным ценностям. Само наличие таких изданий, которые тогда рассматривались как не просто учебники, а научные труды и были как будто основаны на цельных и притом марксистских концепциях, опровергало в глазах любого стороннего наблюдателя необходимость собирать по «кирпичам» пресловутое «здание», видевшееся Мишулину. Враждебность к авторским учебникам Сергеева и Машкина Мишулин и его ученики сохранили надолго, но смогли лишь сначала притормозить их выход, а затем в меру возможности потрепать нервы их создателям и сторонникам. В 1952 г., на фоне нового сгущения идеологических туч, в передовой статье «Вестника древней истории» публикуется проспект все еще не написанных томов «Всемирной истории» по древности: симптоматичным образом, в нем нет прямых упоминаний «революции рабов» (говорится лишь о значении классовой борьбы, в том числе «великого восстания Спартака» и «ударов движений рабов и колонов» в поздней античности), но интегрирующей идеей проспекта представлено именно выделение этапов в эволюции рабовладения. Однако реализация I-II томов «Всемирной истории» оказалась несравненно ближе к конкретной постановке проблем, и можно уверенно сказать, что на «мишулинском» и «раннем постмишулинском» этапах связная марксистская концепция древности (хотя бы только в объеме античной истории) снова не была создана.

Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что смерть Сталина создала принципиально новую обстановку во всем советском обществе и в том числе в гуманитарной науке. Именно в 1950-е гг. начинают по-настоящему реализовываться в крупных публикациях такие ученые, как К.К. Зельин, Е.М. Штаерман и С.Л. Утченко; тогда же или немного позднее начинается развитие нестоличных школ советского антиковедения. Складывается обстановка, позволяющая без особой опаски, с одной стороны, ставить вопрос о взаимодействии между советской и общемировой наукой, а с другой – пытаться искренне и автономно от официальной идеологии разобраться, какой должна быть методология исторического исследования. То, что выработка совершенно оригинальной методологии – дело, мягко говоря, сложное и посильное не для каждого, очевидно; может быть, наши знания подводят нас, но, на наш взгляд, в отечественной науке о древности совершенно оригинальный и широкий по возможностям применения исследовательский метод (фактически самобытный вариант теории нетождества древнего и современного сознаний) был предложен только петербургской египтологической школой. Большинству ученых все же оставалось балансировать между классическими и современными зарубежными исследовательскими методами (мы уже сказали о том, насколько резким было предпочтение, отданное рядом медиевистов школе «Анналов») и методологией марксизма. Качественно новому вниманию к последней содействовала проведенная в 1956 г. мысль о том, что сталинское время исказило исконные принципы коммунизма, к которым необходимо вернуться; и с этой точки зрения труды основоположников марксизма, бывшие вне фокуса внимания, многим казались чистым источником методологической истины. Однако буквальное восприятие категорий марксизма либо их применение для описания тех явлений, которым они не были адекватны, повергло ряд исследователей (субъективно совершенно честных в своих побуждениях!) в неизбежные и непреодолимые апории.

В известном смысле апорией такого рода можно считать и теорию «революции рабов», т.е., по номинальному ее смыслу, перенесение модели межформационного перехода на рубеже средневековья и нового времени на такой же рубеж между древностью и средневековьем; однако само выдвижение этой теории было все же наращиванием квазиисследовательских конструкций вокруг случайной цитаты, а субъективную честность многих ее разработчиков можно как раз поставить под сомнение. Пожалуй, самый простой пример такой апории, порожденной историком безусловно честным, ‑ это парадоксальная идея Е.М. Штаерман о формировании государства в Риме лишь накануне и в начале принципата. Несмотря на упреки одному из оппонентов в его знакомстве с «“теорией истмата”» лишь «в самых скромных пределах», исследовательница не могла отрицать, что сама руководствуется базовым со времен ГАИМКа тезисом Ленина о возникновении государства на основе классовых антагонизмов: было достаточно пошатнуть этот тезис (к чему советская наука оказалась уже готова), чтобы обрушить и все ее построение. Тезис Е.М. Штаерман о многоукладности римской экономики, в отличие от софизма о государстве, скорее соответствует действительности: однако не стоит забывать, что с точки зрения марксистской классики большие этапы всемирной истории – это способы производства, в основе каждого из которых лежит какой-то один структурообразующий уклад. Констатация того, что в римской экономике II в. до н.э. – II в. н.э. были в сопоставимой пропорции представлены как рабовладельческий, так и рентный уклады, причем соотношение между ними могло измениться относительно быстро и резко, хотя и была выдержана в марксистских категориях, но в определенной мере выхолащивала базовое для марксизма понятие способа производства применительно к Риму данной эпохи. Наиболее масштабной апорией послесталинского времени нам кажется возрождение в 1960-е гг. идеи об «азиатском способе производства» для определения специфики восточных обществ. Сторонники этой идеи (по сути, этого термина, подкупавшего своей апокрифичностью) пытались доказать раннее появление на Востоке то ли совершенно особой формации, то ли сочетания рабовладельческого и феодального укладов, то ли «вечного феодализма». Их оппоненты справедливо, с точки зрения марксистской терминологии, указывали, что понятие способа производства выделяется по наличию в его основе специфической формы эксплуатации и что если на Востоке не было какой-то иной формы эксплуатации, нежели рабовладение, рента или наемный труд, то и об «азиатском способе производства» говорить нет смысла; рабовладельческие же и «феодальные» (рентные) отношения в разных неравновесных сочетаниях встречаются не только на Востоке и являются не особым способом производства, а самими собой. Наконец, практически не замечена именно в качестве апории гипотеза К.К. Зельина об эллинизме как конкретно-историческом явлении греко-восточного синтеза: не вдаваясь в детали, скажем, что исследователь, придя к выводу (совершенно верному), что эллинизм не был этапом в развитии античного рабовладения, ушел от его трактовки как этапа вообще, ориентируясь на базовое марксистское представление о том, что крупный исторический этап может быть выделен только по критерию эволюции экономических отношений. Использование в качестве такого критерия, справедливым для древнегреческой истории образом, эволюции полиса дало бы иной результат, тем более что и сторонники гипотезы Зельина не могут отделаться от восприятия эллинизма как явления с хронологическими границами, т.е. все же стадиального.

Судьба этих построений сложилась по-разному: гипотеза Зельина была принята академической историографией; гипотеза Штаерман о времени возникновения государства в Риме, на наш взгляд, не породила серьезной рефлексии в свойственных ей категориях, будучи высказана слишком незадолго до гибели СССР и резкой трансформации тематики и методологии исследований; а вторая дискуссия об «азиатском способе производства» вызвала недоброжелательство сверху, как попытка построить масштабную историческую концепцию, автономную от официальной, альтернативную ей и при этом марксистскую по духу и букве. Однако нет сомнений, что эти построения не содержали в себе упущенных возможностей создания широкой и эффективной концепции древней истории, основанной на марксистских постулатах. Искренность и альтернативность официозу все же не помогли решить задачу, с которой в свое время, действуя в рамках официоза и с определенной корыстью, не справились деятели ГАИМКа и А.В. Мишулин.

Однако именно позднесоветский период 1960-80-х гг. породил ряд концепций, как говорится, *longue durée*, имеющих объяснительную силу для очень масштабных процессов древности. Пожалуй, наиболее поучительно наблюдать за построением С.Л. Утченко его концепции кризиса римского государства в I в. до н.э.: как известно, по его мнению, суть этого процесса сводилась к трансформации римской гражданской общины в государство качественно иного типа (сначала региональное, затем надрегиональное), а ключевое значение для этого имела Союзническая война – «грандиозное восстание италийского крестьянства». Со справедливостью этого построения по существу можно и, наверное, нужно согласиться; однако Утченко стремился сформулировать свой тезис в марксистских терминах и определил описанный им процесс как «социальную революцию». Препятствия к тому, чтобы счесть такое определение корректным, достаточно очевидны: в марксистской теории социальная революция – это способ преодоления конфликта между развивающимися производительными силами и отстающими от этого развития производственными отношениями. С помощью серии цитат Утченко обосновал, что противоречие между свободным крестьянством и элитой в обществе Рима было двигателем его развития в несравненно большей мере, нежели противоречие между рабами и рабовладельцами; однако его построение обходит вопрос о том, какое именно преобразование производственных отношений произошло в прямом следствии Союзнической войны. Утченко не скрывал, что понимал социальную революцию шире, чем единовременное или, во всяком случае, относительно короткое явление, приводящее к полной смене способа производства; однако, если при этом не уходить от того факта, что противоречия между италиками и римским полисом были в большей мере политическими, чем экономическими, и во всяком случае не составляли классового антагонизма (а насколько мы знаем, это именно так), остается констатировать, что в его словоупотреблении термин «социальная революция» был условен и символичен. Фактически Утченко создал концепцию хотя и не альтернативную марксистской парадигме, но едва ли связную с ее категориями в их точном понимании.

Построение Утченко уступает по своей «протяженности» двум другим концепциям, которые окончательно оформились в советской историографии древности к 1980-м гг. и в своей совокупности могли, без преувеличения, претендовать на объяснение процессов, происходивших в древней истории в целом. Одна из них – это концепция путей развития обществ ранней древности, сформулированная И.М. Дьяконовым в значительной мере единолично, хотя и на основе широкого спектра работ востоковедов (прежде всего ленинградской школы). Буквально через год после того, как эта концепция была представлена в полном и обязывающем виде (в первом издании трехтомной «Истории древнего мира»), появилась коллективная монография, посвященная архаической и классической Греции, в которой был суммирован опыт изучения эволюции древнегреческого полиса в I тыс. до н.э. вплоть до кануна эллинизма и фактически сформулирована целостная концепция этого процесса. Детерминантой концепции Дьяконова было взаимодействие государственного и общинно-частного секторов в экономике, соотношение которых в каждом из регионов древнего Ближнего Востока было обусловлено экологически; в концепции антиковедов-грецистов это место занимала собственно эволюция полиса, также определявшаяся объективными факторами (прежде всего прогрессом экономики и межрегиональной интеграции в Средиземноморском регионе). Принципиально важно, что суждения Дьяконова о закономерности формирования полисного строя Греции вследствие гибели микенского общества «третьего пути развития» на рубеже позднебронзового и железного века создавали возможность для интеграции этих двух и без того обширных схем.

Интеграции этих схем содействовало и единство их создателей в том, что важнейшей чертой древних обществ как Востока, так и Запада была фундаментальная роль в их функционировании общины. Тезис о свободных общинниках как третьем классе древних обществ, не менее, а более значимом по своей роли в социальной борьбе, чем рабы, стал пунктом консенсуса советских исследователей древности, по меньшей мере, с 1960-х гг. Принятие этого тезиса сделало более конкретным и изучение собственно рабства: фактическим итогом научной серии «Исследования по истории рабства в античном мире», выходившей в 1960-70-е гг., стала констатация того, что эта форма эксплуатации была структурообразующей даже не во всех античных обществах. Выкладки И.М. Дьяконова о типологии форм эксплуатации на древнем Востоке, несмотря на введение эффектного термина «илоты», выглядят достаточно бледно и уязвимо по сравнению с его же схемой «путей развития», в которой вопрос о формах эксплуатации играет второстепенную роль. На наш взгляд, правомерно сказать, что в позднесоветской историографии произошло замещение детерминирующего фактора исторического процесса древности: эволюция общины оказалась признана таковым не столько наряду с эволюцией форм эксплуатации и классовой борьбой, сколько *вместо* них. Эта перемена аксиоматики осталась не «отрефлексирована», как она того заслуживала, ни в советское, ни в постсоветское время; однако ее значение трудно переоценить. По сути дела, было бы уместно поставить вопрос, можно ли с принципиальной точки зрения считать марксистскими исследования, принимающие в качестве детерминанты исторического процесса древности эволюцию общины. Дело не только в том, что этот подход смещает с позиций детерминанты формы эксплуатации и классовую борьбу как таковые: однако разложение общины еще в древности, под воздействием института частной собственности и связанных с этим социальных противоречий, ‑ тезис, прописанный у основоположников марксизма весьма четко и в свое время определяющий, в частности, для концепции В.В. Струве. Ревизию этого базового тезиса можно было обстроить какими угодно шедшими к делу цитатами; но все же в сути этой манипуляции стоило отдавать себе отчет. Другое дело, что этому нимало не приходилось огорчаться: именно на этапе, когда такая манипуляция произошла, советская историография все же подошла к созданию единой и связной концепции древней истории, не порвавшей с представлением об определяющей роли в развитии общества объективных факторов, но отошедшей от их вульгарного осмысления.

Подводя некоторый итог сказанному нами, мы, прежде всего, хотим констатировать, что, говоря ленинскими словами, отказываться от того наследства, которое нам дает советская историография древности, нет ни смысла, ни надобности. Как мы видели, единую концепцию древней истории, которая последовательно выдерживала бы все постулаты марксизма, в советское время не смогли создать ни официозная наука, ни ученые, искавшие ей альтернативу в рамках марксистской парадигмы. Ближе всего к созданию общей теории древности советская наука подошла лишь в 1960-1980-е гг., когда отважилась на крайне существенные поправки к изначальной марксистской аксиоматике. Значение этого этапа состоит и в том, что именно тогда советская историография древности прошла основательную модернизацию с точки зрения не только методологических корректив, но и несравненно более широкого, чем прежде, восприятия опыта мировой науки: по существу, восстановилась интеграция с последней отечественных антиковедения и науки о древнем Востоке, которая была прервана с 1920-х гг. Мы, конечно, не отрицаем ни идеологизации категорий, использовавшихся советскими историками древности для описания собственно социально-экономических реалий (без такой идеологизации эти категории сами по себе могли и служить исследовательским задачам), ни необходимости для историков «украшать» свои работы чисто ритуальными цитатами и формулировками, ни непропорционального уклона исследований отечественной школы в сторону «соцэка». Однако при отсутствии официозной единой концепции древней истории эти помехи не носили все же характера тотального диктата ученым (скромное, на первый взгляд, преимущество, но, кажется, специалисты по русской истории не имели и его!); а крен науки о древности в сторону «соцэка» и вычерчивания схем в ХХ в. был предопределен не только становлением марксизма, и отечественная историография не избежала бы его, хотя бы и с меньшими крайностями и с применением несколько иного набора категорий, при любом повороте судьбы нашей страны (чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить имя Ростовцева).